

НИКОЛАЙ АРЖАК

ИСКУПЛЕНИЕ

РАССКАЗ

INTER-LANGUAGE LITERARY ASSOCIATES

1 9 6 4

Искупление

НИКОЛАЙ АРЖАК

ИСКУПЛЕНИЕ

РАССКАЗ

INTER-LANGUAGE LITERARY ASSOCIATES

1 9 6 4

Copyright by
INSTITUT LITTERAIRE
91, AVENUE DE POISSY
MAISONS-LAFFITTE (S.-ET-O.), FRANCE

All rights reserved

Publisher: Inter-Language Literary Associates
U.S.A.

Manufactured in the United States of America
by Rausen Language Division
150 Varick Street, New York, N. Y. 10013



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Русская литература, если она хочет остаться русской, никогда не может отказаться от служения вне самой литературной эстетики лежащим принципам: не в природе русского писательства чистый эстетизм и простое развлекательство. Но и проповедь прописной морали, так сказать иллюстрирование практической этики — не в русских традициях: этим зато любвеобильно заполнена советская литература, давно переросшая в социальную педагогику. Нет, метафизическая подоснова нашей нравственной природы, глубочайшие проблемы *оправдания добра* — в этом ищет русская литература свои затаенные пути. И вот, у современного советского писателя, укрывшегося под условным именем — Николай Аржак — и ухитрившегося переправить на Запад еще один свой рассказ, — в этом новом его рассказе звучит исконная нота русской литературы: идея о всеобщей, круговой ответственности всех за вся и за каждого, и каждого отдельного человека за всех и вся: ответственности каждого не только за содеянное им самим, но и за то, что он ничего не сделал лично для борьбы с мировым злом, для борьбы с мучительством другого. Наконец, просто ответственность за *грехи другого*. Каждый за всех, все — за каждого. «Поймите: всё идет своим чередом. . . и в конце концов, он действительно виноват, не в том, так в другом. . . Ну, конечно, жаль. . .»

Разве это не постоянная идея Достоевского: вспомним, хотя бы, сон Мити Карамазова — «Дитё». Пострадать безвинно за чужую вину, искупить своим безвинным страданием чужую беду и чужие муки — эта идея, присущая не только русской литературе, но сквозящая и в русской живописи, и в русской драме, даже в музыке. И не только у творцов, проникнутых духом христианского самопожертвования: в этом отношении недалеко от них ушли наши творцы-социалисты. Пафос самопожертвования одушевляет русскую литературу от протопопа Аввакума и до народных и даже многих символистов. Ярko и отчетливо отразился он в «Докторе Живаго» Пастернака. Но автор этого романа — человек, сложившийся идейно и литературно еще до Октября. Другое дело — Николай Аржак. Не думаю, чтобы автор «Искупления» был верующим человеком. По крайней мере, в его произведениях это не чувствуется. И тем характернее, тем значительнее, что эта тема *искупления* так глубоко и так *жизненно* претворена в его последнем рассказе. Значит, русская душа продолжает оставаться русской душой. А всякая душа, как говорили Отцы Церкви, — по природе своей — христианка.

Художественная манера автора многообразна и многопланна. Мы знаем уже его рассказы: «Говорит Москва», «Руки», «Человек из Минапа». Теперь перед нами «Искупление». И ни один из этих четырех рассказов не похож на другой, каждый построен по особой схеме, в каждом свой сказ, свои краски. Аржак — мастер слова, его слово всегда выпукло и всегда на месте. Он склонен к кинематографической технике построения — и пользуется то более отдаленным, то близким планом, хорошо использует метод «наплыва» — особенно в тех случаях, когда реальность переходит в бредовое состояние, правда, не менее реальное, чем сама реальность. В результате — рассказ перерастает в небольшую повесть, внутренняя напряженность которой совер-

шенно не соответствует развитию внешнего сюжета, который можно было бы изложить в двух-трех фразах. Распад фабулы, сведение ее к минимуму — и острота сюжетного построения — сделать это так умело и интересно может только хороший мастер. А Аржак именно мастер.

Борис Филиппов

ИСКУПЛЕНИЕ

Я соглядатай между вами,
Я слушаю, когда в тревоге
Вы рассуждаете о ванне,
О домработницах, о Боге.

О, милые, и я такой же,
Интеллигентен и тактичен,
Но вот — рванет мороз по коже
И на полях наставит птичек.

И я предам вас, я предам вас!
За что? За то, что в час вечерний
Случайно вспомню я про давность
Вражды художника и черни.

И л ь я Ч у р
«Товарищам интеллигентам».

Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций, Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и, наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в города. Их запела интеллигенция; была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о «Комеди франсэз» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разрумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали:

«Ты, начальник, ты, начальник,
Отпусти до дому...»

А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо до сей поры бесполезно лежавшее в ее лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил:

— Душа моя, это же ли-те-ра-ту-у-у-ра!

И всё становилось ясно. Это превратилось в литературу — безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубахи, язвы, растертые портянками, «пайка», куском глины падавшая в тоскующие кишки. . .

Но бывало и так, что кто-то из этих чистых умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликаю? Ведь вот оно, встающее из дальнего угла комнаты, опустившее, как несущественную деталь, традиционный ночной звонок, вот оно, холодным, промозглым туманом отделяющее меня от сотрапезников, влекущее «по тундре, по широкой дороге» под окрики конвойных, под собачий лай. . . Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов? Это же всерьез, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все! . . . Возьмут винтовочки взведут курки стальные и непременно убьют меня. . . Тьфу, напасть!»

И я (это я о себе пишу) встряхивал головой, выпивал очередную рюмку и трогал колено чужой жены, сидевшей рядом со мной.

А песня звучала, песня шла под улыбку, и зловещие тени уползали из комнаты, через переднюю, на лесничную площадку.

И оставались там.

1.

В буфете не продавали пива, потому что в фойе шла лекция о полупроводниках. Так распорядился директор кинотеатра из уважения к науке. Буфетчица, пятнистая от возмущения (у нее срывался план), шмякнула на поднос бутерброд с засохшей семгой. Я жевал семгу и разглядывал фойе. Кинотеатр был третьесортный, и новейшие веяния его не коснулись: по стенам попрежнему висели портреты передовиков производства. Пожилой лектор уныло и невнятно бормотал что-то десятку-другому слушателей, вре-

мя от времени показывая какие-то, с виду пластмассовые штуковины.

У Ирины после работы было какое-то профсоюзное собрание, отчетно-перевыборное, что ли, и мы могли встретиться только в восемь. Ну, что ж, до начала сеанса полчаса, картина — часа полтора, минут двадцать пешком до Курского — время можно растянуть. Только бы на знакомых не нарваться. Хотя, впрочем, третий лишний — не всегда лишний. Этот третий дает возможность говорить с невинным видом такое, от чего у Ирины вздрагивают губы, можно острить, балансировать на тонком словесном канате — а вдвоем эта игра не имеет никакого смысла. Вообще трудно стало с Ириной. Той последней, окончательной близости, которая дала бы толчок новым отношениям, еще нет, а обо всем остальном уже переговорено: о детстве, о войне, об эвакуации, об общих знакомых. Дырки в разговорах хорошо затыкать поцелуями, но куда спрячешься от людей? Зимой холодно, а теперь темнеет так поздно, что поневоле приходится вести себя благопристойно.

Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая всё-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли? Вот цыганки — те все, как одна, идут — плывут, только юбки выются. . .

Все звучат, звенят, зовут и не кончаются
Речи смутные, как небо в облаках.
И идут-плывут цыганки, и качаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Это Мишка Лурье поет под гитару — здорово поет. Жаль, что я так не могу. И какой это идиот выдумал, что гитара — мещанство?

Лениво и равнодушно оглядывал я лица, разноцветные и одинаковые, как булыжник мостовой, и вдруг задер-

жался взглядом на одном из них. Что-то остановило меня — и даже не то, что человек смотрел на меня в упор, а какая-то напряженная, болезненная гримаса. Лицо было чем-то знакомо — узкими, широко расставленными глазами, нервной одухотворенностью, нездоровой желтизной кожи. Кто бы это мог быть? Я горжусь своей памятью на лица. Но тут я никак не мог вспомнить. Ясно одно — знакомство давнишнее. Ну, что ж, сейчас узнаем. Я встал, отряхнул крошки с пиджака. Встал и человек, смотревший на меня. Улыбаясь ему, я двинулся вперед. Но человек протянул руку женщине, сидевшей рядом, и они оба зашагали по направлению к курительной. У самых дверей он повернул голову и снова пристально, без улыбки, останавливая взглядом, посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Да, да, это не случайность, я специально ухожу, чтоб не разговаривать, не встречаться. Да, мы знакомы, я тебя узнал, но ты ко мне лучше не подходи». Он отвернулся, пропустил в дверях спутницу и вышел.

Я стоял почти посреди фойе, улыбаясь по инерции. Потом пожал плечами и вернулся на свое место. Черт-те что!

Ощущение было такое, как будто меня ни за что, ни про что обругали. Этот человек вел себя так, словно я враг ему. А у меня врагов никогда не было. Я никогда никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винули, хоть и горевали. А этот человек... Ну, ладно, черт с ним! Может, вообще всё померещилось?

Когда сеанс закончился, я снова увидел эту пару в толпе, спускавшейся по лестнице. Женщина — очень красивая, с надменным лицом и длинной, вопреки моде, косой — говорила без улыбки:

— Фильм так плох, что даже хорош. Какая-то прямо первобытная глупость, идиотизм без изъяна, без проблеска

— совершенство своего рода. . . Право, давно я не получала такого удовольствия от кино. . .

Ее спутник что-то бормотнул невнятно, остановился, закуривая, толпа подтащила меня к ним, мы снова посмотрели друг на друга, и мой, должно быть, недоумевающий, вопросительный взгляд столкнулся с отстраняющим прищуром незнакомца. Или знакомца? А ну его к черту! . .

. . .Электричка отгрохотала. Мы шли, переплетя пальцы, тесно прижавшись. И хотя я видел только нос, кусочек щеки и краешек полуоткрытого рта, она была видна мне вся — длинноногая, стремительная и узкая, словно копые, набирающее высоту.

— Пусти, — сказала она. — Нельзя так. Кругом народ.

— Это тебе мерещится, — ответил я. — Никого нету.

— Как же, никого. А вот этот, толстый, — он мне тоже мерещится?

— Сейчас проверим. Простите, гражданин, вы — фикция?

— Чево? — спросил толстяк.

— Витька, ты с ума сошел!

— Извините, я ошибся, думал — знакомый.

Платформа, пивной ларек, хлебный ларек. Дача, дача, магазин, дача, парикмахерская, дача. Мимо, мимо. Песок под ногами — плотный, утрамбованный, перемешанный со щебнем и шлаком. Как ладно шагают ноги, как легко несут они тела, как близко щеки. Какая смесь силы и нежности, как солнце воткнуло в землю рыжие сосны, как сухо и светло в лесу! Ладони, наполнитесь! Господи, Ты есть, ведь не может счастье быть ниоткуда! Ведь не могут же без чьей-то доброй и умной воли захлестнуть меня эти плечи, колени, груди!

— Не надо — сказала она.

Утреннее море было как плохо выстиранная и невыглаженная простыня. Моторная лодка шла на восток, к невставшему еще солнцу. Мотор трещал, пассажиры кричали, какие-то дети хлопали в ладоши, и всё это было совершенно беззвучно. Я крикнул, чтобы услышать свой голос. Никто не обернулся, и сам я себя не услышал. Тогда я стал заглядывать в лица своим попутчикам, но они не замечали ни моих взглядов, ни того, что не слышно голосов. «Куда же мы приплывем, если не слышим друг друга? — подумал я. — Надо жестикулировать. Надо азбуку глухонемых». Я стал приставлять пальцы к носу и подбородку, щурить глаза, двигать нижней губой — но меня никто не понимал, хотя я изображал очень простую фразу: «Товарищи, почему ничего не слышно?» Отчаявшись, я махнул рукой и стал смотреть на мягкую и мощную мускулатуру воды за кормой. Лодка неслась всё быстрее, люди говорили всё горячее и громче — это было видно по артикуляции, волны перестали быть похожими на борцов и превратились в боксеров, краешек солнца показался над горизонтом. «Сейчас мы опрокинемся, — подумал я, — мы опрокинемся, если не услышим друг друга». «Мы опрокинемся!» — крикнул я, преодолевая свою и чужую глухоту. Звонко лопнула пленка в ушах, я услышал свой крик, и все другие — тоже, но было уже поздно: боксер вошел в клинч с лодкой, ударил ее в солнечное сплетение, она согнулась пополам, потом два крюка справа и слева, всё рассыпалось, и, уходя под воду, я увидел накатившийся на волны багровый шар солнца. . .

Какое счастье просыпаться после страшного сна, после смерти и гибели! Медленное воскрешение из мертвых, тающий туман небытия, жизнь, снова прихлынувшая к телу. Только что, секунду назад, ты чувствовал, как превраща-

ешься в ничто, и тебя охватила последняя, самая страшная мука — ужас умирания не готового к смерти, ты знал, что умер, — и вот ты спасен. Мы оставляем себе счастье пробуждения и торопимся забыть о смертной тоске, о том, что нас предупреждают. . .

Я взял папиросу, глянул на часы. Ого, уже восемь вечера. Сегодня на работе я весь день задремывал, а когда пришел домой, прилег на минутку — и два часа проспал. Еще бы, ведь вернулся-то на рассвете.

Я вскочил с дивана, включил электробритву. Я бреюсь по вечерам. Ведь заранее никогда не угадаешь, как обернутся дела. Случилось же как-то, что я пошел небритым в одну компанию, а там была одна такая Тонечка, и я ее провожал, и зашел к ней, и остался у нее, и всё время чувствовал, что небрит, и это здорово мне мешало. Тонечка, правда, говорила, что в мужской небритости есть, мол, даже какая-то привлекательность, но мне всё равно было неловко. Да и не все женщины по-тонечкиному рассуждают. . .

Мы встретились с Мишкой Лурье у метро «Дворец Советов». Было время свиданий, и парочки, как всегда, бродяжили у дощатого забора, окружавшего котлован. Интересно, выстроят здесь что-нибудь, или эти ямы так и останутся памятником взорванному Храму Христа-Спасителя? Сколько же лет торчат тут доски, заклеенные афишами.

— Мишка, когда взорвали церковь?

— Какую церковь?

Мишка рассказывал последние сплетни о кинофестивале — и о том, как к великому смущению и конфузу, первую премию присудили Феллини. «Восемь с половиной!» — бубнил он. — Переполох, скандал! Никто ничего не понимает». Сейчас он был очень недоволен, что я его перебил.

— Ну, в 34-м году взорвали. Ты слушай, что было дальше. . .

29 лет назад взорвали храм. Вопреки поговорке, свято место пусто. Конечно, спору нет, пользы от церквей — кот наплакал, они — архитектурные памятники, не больше, но всё-таки. . . Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Глухота, немота. . . Гной течет из-под бинтиков, из-под статей о гуманизме. Правда, врачи говорят: «Гной течет — рана очищается». Что ж, посмотрим. Впрочем, мне-то зачем забивать голову всем этим? Что мне — больше всех надо? Я чист перед людьми. Есть работа — не очень хорошая, но и не мерзкая, есть жилье, здоровье, деньги. . . Да, вот с деньгами худо. Как ни крутись, а в зарплату не уложишься. Особенно последние года два. . .

— Стоп, пришли!

Мы подошли к новому дому. Рядом стояли забавные домишки с деревянными колоннами, особнячки с резными ставнями, свежевыкрашенные заборы, даже какая-то пузатая чугунная тумба.

— Мишка, что это за тумба?

— Эта? К ней в старину лошадей привязывали.

Всё-то он знает, собака. Впрочем, кому ж и знать, как не ему — на то он и искусствовед. Я похлопал ладонью по теплому металлу и пошел вслед за Мишкой.

В доме Ряженцевых я был не в первый раз, хорошо знал и хозяйку, и многих гостей. Здесь редко собирались просто так — выпить и потрепаться, а почти всегда был какой-нибудь «герой вечера». Случилось и мне быть в этой роли, когда я вернулся из поездки в Польшу. Тогда «на меня звали». А сегодня звали на Брынского, он будет стихи читать. Любопытно, что за стихи? То, что его не печатают,

разумеется, ничего не значит. Стихи вполне могут оказаться никудышными.

Стихи, однако, оказались занятными. Да и сам Брынский очень хорошо держался, не заискивал и не важничал. Он охотно замолчал, когда Мишка Лурье, хватив очередную рюмку, заявил:

— Ребята! Хватит изящной словесности. Давайте песни петь.

И он взялся за гитару.

— Мишка! «Цыганок»!

— «Матрешку», Мишенька!

— Мишка, «Бутылку в море»!

— Я спою «Цыганок», — сказал Мишка, подкручивая колки.

Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,
Сердце бедное у зависти в руках,
Только гляну, как цыганки закачаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка пел, убежденно глядя в угол, и всем почудилось, что и в самом деле оттуда вышли цыганки и поплыли по натертому паркету, задевая пышными оборками книжные полки.

Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,
Из каких-таких просторов забрели,
И давно ли вас кибитки — лодки утлые
До московских тротуаров донесли?

Кое-кто начал подтягивать, но Мишка нетерпеливо мотнул головой. — Не мешайте, мол.

Отвечают мне цыганки — юбки пестрые:
— К вольной воле весь наш век мы держим путь,
А захочешь — мы твоими станем сестрами,
Только всё что было — не было, забудь!

Ах, забыть бы «всё, что было — не было», уйти, убежать за кибиткой кочевой, за детьми природы, под звуки Чайковского, под ритмы Пушкина, под всхлипы Лещенко! Ах, мечта, милая сердцу! Вот так и снялся бы с места российский интеллигент, вот так и пошел бы, пыля по дороге лаковыми сапожками, сморщенными в гармошку! Ах, Стеша, Груша и Параши! Не забыть подписаться на Эренбурга, холодильник через три дня выкупить надо — опять деньги занимать. . . Эх, жги-говори!

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу
К вольной воле заповедные пути,
Да не двинуться, не кинуться, не броситься,
Видно, крепко я привязан — не уйти».

Мишка почти плакал под гитару. Все улыбались застенчиво и сконфуженно. В самом деле, хорошо бы — а куда денешься? Кругом профорги, парторги, Мосторги — эх!

Да все звучат, звенят, зовут и не кончаются
Речи смутные, как небо в облаках,
И идут-плывут цыганки и качаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка оборвал последний аккорд, как свечу задул.

Хорошо! — сказал Брынский. — Это вы сами всё придумали — и музыку, и слова?

— Сам, — буркнул Мишка недовольно: он почему-то стеснялся своего сочинительства и пел, только когда выпьет.

— Ну, пожалуйста, еще, — защебетали женщины, — «Матрешку», Миша!

Это была песенка о Матрешке. Семь деревянных русских красоток помещались друг в друге. Они все были разного цвета, каждая из них завлекала, улыбалась маняще: «А душу мою ты не понял! Загляни-ка внутрь!»

Я одна в другой, я одна в другой,
Полюби меня дорогой!
Да не ту, что здесь, а вон ту — внутри,
Посмотри в меня, посмотри!

Он не успел начать второй куплет, как раздался звонок. Явились новые гости, и, когда они, трое, вошли в комнату, в двух из них я узнал вчерашнюю парочку из кино.

— Знакомьтесь, — сказала хозяйка, — это мои милые хостинские друзья: Ася и Феликс Черновы. . .

Феликс Чернов! Я сразу же вспомнил озеро Селигер, палатки на берегу, плеск воды под веслами, веселый галдеж с утра и фронтовые песни по вечерам — тогда их еще пели. И Феликса Чернова — узкоглазого, веселого студента-зоолога, который шокировал дурочек-первокурсниц рассказами о многобрачии у животных. Остряк, актер, импровизатор — как он нравился мне тогда. Да и не одному мне — он для всех был героем тех двух недель на Селигере. Ведь мы потом и в Москве собирались несколько раз той же компанией. А потом я уехал по назначению и за годы, проведенные вне Москвы, я перезабыл имена и адреса тогдашних приятелей. . .

Третьего, пришедшего вместе с Черновым, я знал: это был Владимир Семенович Игольников, писатель, прозаик. Мы с ним не то чтобы дружили, а издалека симпатизировали друг другу; у меня был даже его сборник с дарственной надписью.

Все трое на мгновение остановились у двери, потом Чернов сделал движение обойти всех и пожать каждому руку, но тут он увидел меня. Он сделал общий поклон и сел на свободное место. Игольников и жена Феликса тоже сели.

— Мы, кажется, пение прервали? — сказал Игольников.
— Не сердитесь, Миша, продолжайте.

— Я всё равно сбился, — ответил Мишка не очень лю-

безно. — Давайте лучше перервемся и тяпнем с новоприбывшими.

Все дружно выпили; Игольников грустно сказал:

— Такова моя горькая участь. Стоит мне где-нибудь появиться, и сразу прекращаются все умные разговоры, искусства и науки разбегаются, как тараканы. . .

— Так это же здорово! — сказал я. — Вы счастливый человек, Володя. А окружающие как довольны! Легко ли вести интеллектуальные разговоры. . .

— Витя, вы художник, для вас интеллект не обязателен, даже вреден. А я — инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей. А где ее уловишь, душу-то, когда только и слышишь: «А ну, тяпнем!», «Эх, хорошо пошла!», «А не повторить ли нам?»

— Владимир Семенович, так ведь тяпнувшую душу легче улавливать!

— Это трезвому легче, а ведь я. . . В общем, ясно.

— Друзей у вас слишком много.

— Друзей у меня — вся Москва. Размеры этого бедствия будут видны, когда я помру. «Литатурка» поместит объявление о смерти члена Литфонда В. С. Игольникова, и случится то же самое, что на похоронах великого вождя и учителя. Причем давить друг друга будут люди, знакомые между собой. Эх, жаль, увидеть не придется!

— Да будет вам, Владимир Семенович!

— Что это вы, Миша, меня по отчеству титулуете? Вы не смотрите, что я толстый — я еще молодой. Отчество, знаете ли, определенные обязанности накладывает. А в наше время обязанности иметь хлопотливо, да и небезопасно. Это все, даже не понимая, нутром чувят. Поэтому и отчество у нас отмирает. Загляните ну хотя бы в Тургенева или в До-

стоевского: мальчишку, вчерашнего школяра, называют Аркадий Макарович, девицу семнадцати лет — Зинаида Борисовна или Петровна, а ее бы по всем статьям Зинойчкой звать. Вот мы здесь все вокруг сорока лет крутимся, а только меня за толстое брюхо Семенычем обзывают. . .

Он много еще балагурил, Игольников. В конце концов все вылезли из-за стола, стайками разбрелись по углам, по диванам, по другим комнатам.

Я выбрал момент, когда Чернов остался один, и подошел к нему.

— Слушайте, Феликс, я никак не пойму, вы узнали меня или нет? Ведь мы с вами были знакомы в. . . дай Бог памяти. . .

— Вас да не узнать! — Чернов усмехнулся. — Мы с вами встречались в 51-м году, с августа по октябрь.

— Как это вы так сразу дату вспомнили?

— А мне ее и вспоминать не надо. Я ее всегда помню. В октябре 51-го меня посадили.

— Вот как? А я и не знал.

— Да? А ведь у нас было много общих знакомых, — сказал Чернов.

— Дело в том, что, примерно, тогда же я уехал из Москвы, по назначению, в Воронеж. Я там в художественной школе преподавал. . .

— Вы, я вижу, уже подружились? — к нам подошла Нина, хозяйка дома.

— А мы старые друзья, — опять усмехнулся Феликс.

— Вот и чудно, вот и хорошо! Но послушайте, нельзя так уединяться. Идемте, идемте, сейчас Миша опять будет петь.

Но в другой комнате не пели. Там царил Игольников. Он стоял как монумент, и, расставив ноги и заложив руки в

карманы, сокрушал авторитеты. Бог мой, кому здесь только не доставалось! Он громил ученых за вмешательство в политику, писателей — за то, что они не вмешиваются, государственных деятелей, кинематографистов, кибернетиков и скульпторов.

— Как слепые! — шумел он. — Как слепые, прут куда-то в сторону. Ну стоит ли писать, рисовать, лепить о том, что люди делают?! Надо о том, что они могут сделать! Что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие. Я утверждаю — произнес он с расстановкой, — я утверждаю, что это чувство — ощущение вины — живет сейчас в каждом интеллигенте. Вины за несодеянное!

— Не понимаю, — сказал я. — А если человек — я, предположим, — ни в чем не виноват? Почему я должен терзаться?

— Вы действительно ничего не понимаете, Витя. — Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых, — и это самое главное — вы виноваты в том, чего не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы абортотворения — начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш?

— Фу, — сказала Нина.

— Не фыркайте, Ниночка. Я не буду говорить о том, что я мог бы сделать всерьез. Действительно важное и нужное, для многих людей. Да, не стоит — это было бы напыщено. Вот взять, казалось бы, пустяки: я не могу простить себе, что в свое время не написал, не пришел к таким людям, как Пастернак или Зощенко. Да-да, я понимаю, вас, снобов, шокирует это сопоставление. Дело не в этом. Никогда, вы понимаете, ни-ко-гда я уже не смогу сказать им, как я им благодарен, как счастлив, что я их

современник. Или другое: я не написал ни одного письма своему другу, когда посадили его родителей. И не от трусости, нет! Просто я не люблю писать письма, не люблю эпистолярного жанра. И я, скотина, не сделал исключения для него. А ведь тогда одно мое письмо было важнее, чем всё наше общение потом. . . Эх, да мало ли!

— Владимир Семенович, а как всё это с вашим писательством согласуется?

— Как согласуется? Никак не согласуется! Ни хрена не согласуется. . . Дамы, простите. В том-то и штука, что в работе — разумеется, в той работе, за которую гонорары платят — так вот, в этой работе у меня принцип один есть. Нет, братцы, я не продался — я смирился. Не знаю, правда, что хуже. . .

— Какой принцип? — спросил Феликс.

— Что? Ах, да, принцип. «Не вреди». Это медицинская заповедь — «не вреди». Заповедь хорошая, заповедь чудесная, римских врачей заповедь; но, дорогие мои, с римских-то времен медицина куда шагнула, а? Хирургия, рентген, антибиотики! Мать честная! А я литератор, к временам Цинцината, блаженного Августина, Марка Аврелия и еще черт знает кого — я к этим временам возвращаюсь! И когда? В наши дни! В наши необычайные дни! В наши смрадные дни! Что — небось, не знаете, эрудиты?

Он протянул руку и, отбивая такт, скандируя, произнес:

— «В наши смрадные дни никуда не уйти от гримас и болячек родной политики». Лесков это, Лесков, пижоны!

Он был уже здорово пьян. Феликс Чернов взял его под руку:

— Владимир Семенович, хватит. Всё это суета сует и томление духа. И. . . неуместно, ненужно.

— Феликс, милый! Зачем ты мне мешаешь? Ты же солдат, ты же должен понимать!

— Ну, какой я солдат! Я и в армии-то не служил.

— Всё равно, ты сидел, а солдат и зека всегда друг друга поймут... Давай блатные песни петь!

Пели блатные песни. Допивали водку. Брынский опять читал стихи.

Слова, как пули, ложатся кучно
В сердце, прикрытое только кожей.
Кто пожалеет меня, измученного?
Ну, не стреляй же хоть ты, прохожий!

Когда мы вышли на улицу и Феликс, поймав такси, стал усаживать в него Игольникову, я тронул его за локоть и сказал:

— Феликс, давайте увидимся на-днях. Поболтаем, старину вспомним. Вот, — я вырвал листок из записной книжки, — вот мой телефон. Позвоните мне, ну, хотя бы в четверг после шести.

Феликс взял бумажку и сказал — очень медленно:

— У вас потрясающая выдержка, Виктор Вольский. Прямо зависть берет. Ну, что ж, я позвоню.

3.

Я смотрю на мое прошлое сквозь цветные стеклышки прожитых лет, и оно непостижимо окрашивается в радостные зеленые, синие и розовые тона. Я должен сделать усилие над собой, чтобы восстановить истинный колорит событий и впечатлений, людей и времени. Но даже если мне это удастся, я не могу восстановить свое тогдашнее отношение. Я помню демонстрацию где-то около Стретенских

ворот, ликующую демонстрацию по поводу смертного приговора героям процесса не то 37-го, не то 38-го года. Люди шли с лозунгами и портретами Ежова, шли от Колхозной площади к Лубянке. Странно, кстати, как всё перевернулось: Лубянка тогда уже называлась площадью Дзержинского, а Колхозная площадь, кажется, еще не была переименована, а вот ведь никак не могу вспомнить старое название. Слово «Лубянка»-то не забывается. Так вот, я посмотрел на демонстрацию, пришел домой и процитировал (я был начитанный мальчик): «Пристойно ли, скажите, сгоряча смеяться нам над жертвой палача?» Я ничего особенного не имел в виду, просто цитата показалась мне подходящей. Родителей так и перекосило. . . Какого цвета была эта демонстрация? Наверно, черного, а мне она помнится яркожелтой — был солнечный день. Я упорно и много раз восстанавливал серый осенний денек, поникшие кресты деревенского кладбища и себя, шестнадцатилетнего, первый раз в жизни берущего женщину. Как всё это было серо и непохоже на книжки! Но время, доброе время зеленил траву и проясняет небо, в нежный румянец окрашивает щеки двадцатичетырехлетней распутной бабенки. Ах, какой он колорист — сегодняшний день! Как он всё переиначит, переделает!

Тогда, на Селигере, всё было синё, зелено, оранжево, а после встречи с Черновым воспоминания подернулись странной черно-багровой дымкой, тревожной и нерадостной. К чему была эта загадочная фраза о моей выдержке? Почему он себя так странно держит?

В четверг я ловил себя на том, что с нетерпением жду, когда, наконец, часы отстукают шесть. В конце концов, что это за манера? Если я ему неприятен, если он не хочет видиться со мной, пусть скажет прямо. А эти многозначительные ужимки. На кой ляд они нужны. . .

Феликс позвонил в пол-седьмого. Когда я пригласил его прийти, он отказался. К себе он тоже не позвал, а сказал, что можно встретиться через час на Арбате, у памятника Гоголю.

Около Гоголя шумели дети. Я оглянулся. Феликса еще не было. Я закурил и неспеша пошел вокруг памятника. Я остановился, разглядывая надпись, выбитую на постаменте, когда вдруг услышал женский голос, сказавший по ту сторону каменной фигуры.

— Фелька, ты всё-таки с ним поосторожнее. . .

— Не беспокойся, — ответил голос Феликса Чернова, и в то же мгновение он и его жена вышли мне навстречу. «С ним» явно относилось ко мне, но они ничуть не смутились, а наоборот, уставились на меня так, как будто это я должен смутиться.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Привет, — отозвался Феликс. — Ася, ты иди. Я долго не задержусь.

Она, так и не поздоровавшись и не попрощавшись, ушла. Мы оба глядели ей вслед. Она была очень красивая, и хотя я уже давно не писал портретов, мне захотелось попросить ее попозировать.

— Ну-с, где мы устроимся? — произнес Феликс.

Я молча глядел на него.

— Видите ли, я подумал и решил, что нам, действительно, нужно поговорить. Причем наедине. Это, кстати, в ваших интересах.

— Вы держите себя, как дипломат, собирающийся предъявить ультиматум, — сказал я.

— Это так и есть, — ответил Феликс без улыбки.

Мы сели на свободную скамейку. Недалеко от нас толстая девочка в комбинезоне воздвигала какое-то соору-

жение из песка. «Нюр-р-ра, смотр-ры!» — кричала она, раскатываясь на букве «р», и дергала за рукав няню. Мы некоторое время следили за девочкой. Песок осыпался. Феликс потер лоб и заговорил:

— Я вам уже сообщил, что меня арестовали в октябре 51-го года, вскоре после нашего с вами знакомства. Само по себе это совпадение не имеет значения. После этого не значит вследствие этого, — так утверждают логики. Но дело в том, что на следствии мне были предъявлены обвинения в злостной антисоветской агитации и был процитирован целый ряд моих высказываний. Источником такой доскональной информации могли быть только вы, Виктор Вольский. Подождите, не вскакивайте. Вы же человек с самообладанием. Я поясню вам. Мне предъявили почти дословную запись моих суждений о логической стороне выступлений и статей Сталина, о приемах его доказательств. Ну, вы помните: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — и прочее, в том же духе. Мы с вами знаем, чем это пахло. Я помню вечер, когда мы разговаривали, когда я разглагольствовал, цитировал учебник логики Асмуса и щеголял латынью. Я помню даже то, что говорили вы, Виктор Вольский, о внешности Сталина: о том, что у него мало лба и мало ног, что единственный похожий портрет — это рисунок Андреева в Третьяковке — там видно, какой он рябой и какие у него мутные глаза. Я бы мог всё это сказать следователю, вы бы тоже загремели в лагерь, таких вещей даже сексотам не прощали. Ну, что вы опять? Потерпите, я больше терпел. Я вас не посадил не потому, что пожалел, — я вас ненавидел тогда. . . Просто я — брезгливый, мне противно было мстить при помощи эмгебэшников. Так вот, в этот вечер, кроме нас с вами, было еще трое. Одного из них тогда же арестовали, и он сидел все эти годы. Другой — он был моим другом с

детства, он вне подозрений — он умер, а третья, девушка — вы помните ее? — эта девушка была моя девушка, моя возлюбленная, моя жена. Мы жили с ней, понимаете. Мы спали с ней, понимаете? Мы любили друг друга. Вы поняли, Виктор? Вам незачем сейчас и когда бы то ни было отпираться и оправдываться. Да. Вы единственный человек, которому я мог бы рассказать всё, что я перенес, — чтобы вы поняли, чтобы вы почувствовали хоть в какой-то мере, что вы сделали. Вы понимаете, что у вас нет оправданий? Если вас запутали, запугали, вы должны были убить себя, уйти добровольно, а не становиться тем, . . . тем, чем вы стали. Вы предатель, Виктор. О, я всё это обдумал! Там, в лагере, я решил, что убью вас. Убью — за свою испоганенную жизнь, за то, что мы едим баланду, за то, что спим с мокрыми ногами, за то, что следователь плевал в меня и я не имел права стереть его слюну с лица, за то, что Люда вышла замуж за другого — не любя, плача, — чтобы ей, выгнанной отовсюду, было чем кормить ребенка, моего ребенка, он родился уже после того, как меня взяли. Слава Богу, муж ей попался хороший, очень хороший человек, теперь уже и она любит его. Понимаете, Виктор, — вы же умный человек, вы можете и должны это понять — я не мог мечтать о том, чтобы свернуть шею всему режиму, но вас я мог бы убить даже голыми руками, ведь я раза в два сильнее вас, и теперь могу — вот просто могу взять и задушить, здесь, на скамейке, около Гоголя. . . . Что вы смотрите так? Не боитесь? Это хорошо, что вы вздрагиваете от слова «сексот» и не трусите, что я убью вас. Значит, вы поймете и сделаете то, что я хочу. Я раздумал убивать вас. Я очень переменялся с тех пор, Виктор. Мне стала противна мысль об убийстве. Я уж не говорю о том, что у меня есть семья, друзья, работа, много моря и много солнца в моих экспедициях, и мне было бы жаль всё это потерять. Нет, я не стану убивать вас. Но вы исчезнете.

Вы не должны ни с кем общаться, вы не имеете права ни с кем дружить, вы не должны спать с порядочными женщинами, вы не смеете жениться — слышите? Лучше всего вам было бы уехать куда-нибудь на край света, на Дальний Восток или в Среднюю Азию, потому что я облегчу вам ваше исчезновение. Я вас предупреждаю открыто, Виктор: я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой. Мне вас жалко, Виктор, почти так же, как было жалко самого себя, но другого выхода нет. Вы спросите, почему я не встретился с вами раньше? Почему раньше не потребовал этого? Я ждал. Я ждал, что вы придете ко мне, что вы хотя бы попытаете объясниться со мною, и, честное слово, если бы я заметил, что вы хоть немного страдаете, что вам неудобно, неуютно жить от того, что вы сделали, — честное слово, я простил бы вас. Но вы спокойны, Виктор, вы ходите в гости, вы пьете вино, и, наверно, встречаетесь с женщинами. А ведь вы не имеете на это права, Виктор, вы не имеете права! Раз вы так спокойны, раз вы так хладнокровны, значит, вы — подлец, Витя. Значит, вы не только марионетка сталинских времен — с тех пор многим «винтикам» стало не по себе. Вы спокойны, вы — негодяй; это я не оскорбляю вас, нет я классифицирую, ведь я же зоолог. В вас негодяйское, черное начало. Будь я верующим, я бы сказал: антихристово начало. Оно встречалось у людей и до Сталина, и до Гитлера, и до Ивана Грозного, и до Лойолы. Таких людей надо обезвреживать, самое лучшее — убивать, но я не могу убить. Вы поняли меня, Виктор? Не отвечайте мне, мне не нужно ответа, я вам всё сказал и обо всем предупредил. Мой вам совет — уезжайте; лучше лечиться самому в одиночестве, чем ждать, пока вас начнут лечить другие. Прощайте, я надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Мне очень вас жаль, Виктор.

Он встал, постоял немного надо мной, протянул руку и тронул ладонью мое плечо. Потом повернулся и зашагал

прочь. Я смотрел ему вслед, и, помнится, подумал: «А ведь это ему только кажется, что он вдвое сильнее меня. Как он сутулится. . .»

Я зажег потухшую папиросу и пошел домой. Добредя до подъезда, я остановился и оглянулся. Улица шумела, но этот уличный шум был как-то отдельно от моего слуха. Сам по себе вздрагивал какой-то дурацкий мускул на плече. Я стоял и смотрел, как задним ходом плывут отражения домов в окнах троллейбусов, как низко пригнувшись, едут велосипедисты — единственные, кому не возбраняется одеваться эксцентрически: они напяливают на себя женские шапочки, фуфайки немыслимых фасонов и расцветок, и никакие дружинники не трогают их. Девочки, болтая косичками, играли на тротуаре в «классы».

Но, Господи Боже мой, я же не доносил на него! Я никогда ни на кого не доносил!

.

Они сидели за шахматной доской где-то над городом, а, может быть, и в самом городе, но всё равно — вокруг было пусто, и холодный синий воздух отделял их ото всего. Добро было в белой одежде, а Зло — в черной, как и положено. Они кончали одну партию и тут же начинали другую. Добро играло напористо, темпераментно, с азартом; Зло медленно обдумывало ходы. Их силы были, примерно, равны, но Добру не хватало выдержки: оно торопилось, хваталось за разные фигуры и часто просило дать ход назад. Зло всегда соглашалось, ему незачем было спешить. Оно продвигало пешки, укрепляло позиции, неторопливо развивало фигуры. Наискось, стремительно, как шпаги, разили слоны Зла. С фантастическим, ненатуральным вывертом прыгали кони Зла. Гремя, скатывались в никуда фигуры. Чаще это были фигуры Добра. Оно охотно жертвовало ими в надежде на скорый выигрыш. Зло щадило

своих. Постепенно пустела доска, разыгрывался эндшпиль, звучало «Шах и мат!» — и снова, для новой партии выстраивались фигуры. «Ну, последнюю», — говорило проигравшее Добро. И Зло всегда соглашалось. И снова выдвигались вперед пешки, и происходили рокировки, и готовились «вилки», и снова игроки заслоняли своих королей другими фигурами — своих почти беспомощных королей, носителей идеи победы, добиваться которой приходилось другим. Когда побеждало Добро, оно бурно ликovalo и требовало продолжать игру, чтобы упрочить успех. Зло всегда соглашалось. И партия следовала за партией, и холодный синий воздух, прослоенный белыми облаками, клубился вокруг шахматистов, и Зло курило сигареты с фильтром, а Добро сосало карамельки, и они играли, играли, играли, и оба знали, что в любую минуту может зазвучать властный голос: «Хватит! Кончайте игру! Уступите другим доску!», и поэтому Добро торопилось увеличить счет в свою пользу, а Злу было незачем спешить.

.

5.

Мне хотелось побыть одному, а вся наша шайка-лейка, как на грех, решила пообедать бутербродами с пивом тут же, на работе. Один побежал за припасами, а остальные — сидели на столах и рассказывали о летних приключениях. Я вышел из комнаты и пошел в мастерскую трафаретчиков. Там никого не было, все ушли обедать в ближайшую столовку. Я лег на скамейку и подложил под голову чей-то портфель. Прислоненные к стенке, стояли неоконченные рекламные щиты. Это были изображения элегантного мужчины, сообщавшего, что до Сочи можно долететь за три с половиной часа. Я знал этот закон, я сам набрасывал эс-

кизы. Щиты были почти готовы, не хватало только красной краски — ее накладывали в последнюю очередь. Красным делали текст, полоски на галстук и рот. И вот теперь они стояли, безгубые, безротые, что-то хотели сказать и не могли, нечем было. Глаза у них были страдальческие, как у собак. И хотя я точно знал, что ничего, кроме дурацкой фразы о полете в Сочи, они мне сказать не могут, мне почудилась в их лицах просьба о важном разговоре.

— Вы что-нибудь знаете? — спросил я их. — Что-нибудь нужное мне?

Они многозначительно молчали.

— Ведь у вас в башках всего одна мыслишка: о трех с половиной часах полета.

«Как знать!» — ответили они мне молча.

— Даже если есть и другие мысли, так они такие же пошлые, как и эта.

«А ты дай нам речь — тогда услышишь», — сказали они.

— А стоит ли? — спросил я. — Много ли радости от слов?

«Никакой радости, — сказали они, — но всё равно: люди должны говорить».

— Так вы же не люди.

Они посмотрели на меня укоризненно. Я встал, оглянулся. На подоконнике лежала губная помада. Я взял ее, сделал одному из них рот и сказал:

— Ну?

Он пожевал губами, разминая их, и произнес:

— Главное — это то, что ты сам знаешь, что ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, а разве мне от этого легче?

— А кто сказал, что всегда должно быть легко? Хватит с тебя, тебе тридцать семь лет легко жилось.

— Но как же я буду жить среди людей?

— Страдай.

— Не хочу!

— Мне жаль тебя, — сказал он голосом Феликса Чернова.

Я взял тряпку, стер ему рот и подошел к другому. Этот другой был очень деловит:

— Ты должен встретиться с Феликсом и объясниться. Ты должен найти убедительные слова. Напомни ему, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного.

— Да разве ты не слышал, каким тоном он со мной разговаривал? — спросил я, тоскуя.

— Это всё равно. Ты человек и он человек. Оба вы — Homo Sapiens. Человеческий разум. . .

Я ударил его тряпкой по лицу и заставил замолчать:

Третий сказал:

— Виктор, тебе придется смириться. Тебе придется сделать всё, как сказал Чернов.

— Почему? — закричал я.

— Потому что ты виноват. И ты сам это знаешь.

— Ничего я не знаю! Я не доносил!

— Я не об этом. Ты виноват. Подумай, и ты сам поймешь. Ты виноват в том. . .

В это время в коридоре захлопали двери. Я едва успел лишить его речи, как в мастерскую ворвалась банда трафаретчиков. «О, Витя! Виктор! Виктор Львович! — зашумели они. — К нам приехал ненаглядный Виктор Львович дорогой!» Они все были много моложе меня — студенты и студентки, халтурившие на летних каникулах, — но мы были на короткой ноге, вместе выпивали, играли в пинг-понг и ездили за город. Отношения были самые свойские. Троиц

из них я, правда, показал как-то свои работы, попросив не говорить другим; но они, конечно, растрепались, и теперь я иногда ловил на себе почтительные взгляды. «Банда» явно гордилась знакомством со мной и короткостью. Иногда, по молодости, они пересаливали, но я терпел, они мне тоже нравились.

Мы поболтали немного об абстрактной живописи и о «левых» стихах, выяснили, что хорошая абстрактная живопись — это хорошо, а плохая — это плохо. Потом я сказал:

—Ну, мальчики и девочки, делайте деньги, — и ушел.

Работа не ладилась. Надоели мне эти чортовы рекламы. Я вяло водил карандашом, набрасывая контуры, шаркал резинкой по бумаге. Всё это дурной сон. Какое право он имеет распоряжаться мною, моей жизнью? Как будто он Господь Бог. Навалился на меня, scomандовал и ушел. Нет, он не посмеет сделать то, чем угрожал. И вообще я могу сам рассказать об этом разговоре. Рассказать своим друзьям и знакомым. Ирине надо рассказать. Мы с нею не виделись с того дня, как за город ездили. У нее мать заболела, и она сидела дома, даже на работу не ходила — взяла бюллетень. После работы позвоню ей, может быть, она уже свободна. «Предатель! Это я-то предатель! Как будто я не знаю, чего стоит свобода. Слава Богу, навидался и наслушался, только что сам не сидел. Впрочем, армия и тюрьма — родные сестры. Игольников прав: солдат и зека всегда друг друга поймут. А что же ты с Черновым общий язык не нашел? Попробуй, найди, когда он так предвзято. . . Я бы мог рассказать ему, когда я впервые понял, что такое несвобода, я рассказал бы ему о том человеке, который заставил меня понять. Это было на фронте, на Украине, меня, автоматчика, после ранения сунули к связистам, и я тащил по дороге всё их связистское снаряжение. Каждая катушка весила по восемь килограмм, их было две — шестнадцать; стационарный аппарат

— килограмма четыре, полевой, чтобы бегать на линию, — около полутора, автомат — четыре с половиной, да еще запасной диск, котелок, кусачки, всякая мелочь. . . Всего набиралось пуда два. Если бы всё это было в одном месте, компактно, тогда бы еще ничего, а то перекрещивающиеся ремни давили на грудь, прижимали к шее жесткий и мокрый воротник шинели. И грязь. Тугая, как резина, хищная, как болото, она хватала за ноги, разувала. Иногда я сбивался с танковой колеи. Я уже не радовался тому, что немцам еще хуже. Я яростно выдираю ноги из этой гнусной квашни, цепляясь за измызганные и покалеченные прутья придорожного кустарника. Выбравшись на сухое местечко, я садился и, стараясь не торопиться, счищал щепкой, а то и пальцами, грязь с ботинок и обмоток. При этом ругался — устало и механически. И только потом, когда усталость чуть отпускала меня, — по-настоящему она никогда не исчезала, она была всегда, и война была прежде всего усталостью, — только немного погодя я начинал смотреть на всё, что меня окружало, так, как смотрел до войны, видел бурую, разбухшую пористой грязью дорогу, детали: прямоугольники грязи, отлетевшие от гусениц, керосиново-глянцевые в тех местах, где они соприкоснулись с металлом, бледное пятно потерянной пилотки, походная кухня с сорванной крышкой, налитая вровень с краями мутной дождевой водой, и неожиданно яркий, радостный колер трофейного кабеля — красные и желтые нитки, протянутые метрах в десяти от дороги. Из такого кабеля деревенские девочки делали «намысто» — бусы. Если посидеть подольше, взглядеться пристальней, всё это обретало особую точность, каждый предмет как бы сам собой приближался к глазам, громко заявляя о своем цвете, о форме, о самом главном в себе. Но долго сидеть было нельзя. . . На одном из таких привалов я заметил, что в створе, метра за три от дороги, валяется альбом — большой, красивый, с обтянутой целлофаном крышкой. Я смотрел на

него и колебался. Чтобы взять его, надо было сделать несколько шагов в сторону, в топкое месиво. А вдруг в нем есть чистые листы? Я пересилил себя и пошел за альбомом. Я поднял его и сразу же заглянул в конец — чистых листов не было. Последняя страница была перечеркнута трехбуквенным ругательством. «Братья-славяне, — усмехнулся я. — Резолюцию наложили». Надпись была сделана химическим карандашом, должно быть, огрызком — бумага была поцарапана. Сначала я хотел бросить находку, а потом всё-таки сунул альбом под ремень и побрел дальше.

Вечером, на ночлеге, я раскрыл альбом и придвинул его к светильнику, сделанному из гильзы.

Я увидел немецких мотоциклистов, мчащихся в ночь по залитой водой дороге, фары прорывались сквозь дождь; я увидел картину атаки: солдаты бежали вперед, выставив автоматы, а под землей в обратном направлении ползли мертвецы; Иисус в мундире с нашивками фельдфебеля нес крест на Голгофу, изрезанную траншеями; дальше был портрет человека с измученным ртом, со шрамом на лбу, внизу было написано по-немецки: «Я еще жив. 1943, февраль»; на следующей странице — человек с тем же лицом, он стоял у стены, его расстреливали, внизу надпись «Расстрел дезертира»; рисунок повторялся, только на этот раз художника расстреливали не немцы, а наши, он же лежал, как младенец, на руках Богоматери, а она стояла на коленях перед офицером: опять автопортрет: художник гладит оторванную женскую руку с обручальным кольцом; группа зенитчиков стреляет в ангелов, спускающихся на парашютах; солдат, стоящий под виселицей, на которой раскачивается труп человека в нижнем белье, надпись: «Я тоже хочу быть свободным».

Все рисунки были сделаны карандашом, только автопортрет 43-го года — пером.

Я смотрел этот альбом, пока мне не крикнули, чтобы

я прикрутил огонь. Я лег, но и в темноте видел рисунки немца. Потом я заснул.

Я таскал с собой альбом почти до самой демобилизации, пока замполит не отобрал. Нет, я не относился к войне так, как этот Фриц или Ганс. Я должен был воевать, и не только потому, что меня призвали. Эта война была моей войной. Я не жалел, что воюю. И не о войне думал я, снова и снова рассматривая альбом. Я понял, что немец боялся не смерти: он был в ужасе от того, что кто-то взял его за глотку и заставил подчиняться, сделал его несвободным. Может быть, с этого-то немца, брата моего во Искусстве, и начались мои мысли о свободе и несвободе. Может быть, тогда-то и пришло мне впервые в голову, что умирать легче, чем быть в тюрьме. Может быть, именно с тех пор я стал осторожнее в разговорах, оберегая свою свободу. Свободу? Да, свободу: я писал картины, я пил вино, я купался в море, я ласкал женщин. . .

— Виктор, эскиз готов?

Он хочет наказать меня за несовершенный грех. Он хочет обречь меня на одиночество, высадить на необитаемый остров. Ну, что ж, пусть попробует: я не дамся, и буду сопротивляться, меня так легко не сломишь. Я буду звать на помощь, я брошу СОС, как бутылку в море. . .

— Виктор, как с эскизом?

Бутылка в море, мишкина «Бутылка в море»!

Плещет в море волна ласковая,
Плещет, плещет и бутылъ шевелит,
Потихоньку ополаскивая,
Осьминогам ее трогать не велит.

Ветер носится, посвистывая,
Вести носит от земли до земли,
Синева глядит неистовая,
Не заметят ли бутылку корабли.

- Виктор!
- Чего тебе?
- Эскиз готов?
- Сейчас.

А что, если всё будет, как в мишкиной песне? Как в печальной песенке, вызывающей задумчивые вздохи после ужина? Как в грустной песенке о людской беспомощности, о приветливом равнодушии мира?

Цепи с грохотом потравливая,
Соберутся корабли всех морей:
Вон плывет письмо отправленное,
Подбирайте-ка бутылку поскорей!

У судьбы моряцкой выпрошенный,
Открывается конверт из стекла:
Ждет моряк, на скалы выброшенный,
Два столетия, чтобы помощь подошла.

— Ребята, шабаш! Пошли до дому, до хаты. Витя, черт с ним, с эскизом. Завтра dokonчишь. Двинулись?

- Идите, я еще поковыряюсь.
- Ну, как хочешь. Салют!
- Пока.

Когда все ушли, я откнопил ватман, собрал карандаши, взял свою папку и пошел домой. Проходя по коридору мимо трафаретчиков, я замедлил шаг. Потом раскрыл двери и вошел. «Банды» уже не было. Мои давешние собеседники стояли у стен и улыбались свежими ртами. Я подошел к тому, с кем не договорил.

— Ну, так как же, дружище? В чем же я виноват?

— «Пользуйтесь авиатранспортом! — ответил он. — До Сочи вы можете долететь за три с половиной часа».

— Не дури! — сказал я. — Ты вроде бы умней своих братьев. Что ты хотел мне сказать?

— «Пользуйтесь авиатранспортом. . .»

— Слушай, не будь сволочью. Говори!

— «. . . до Сочи вы можете долететь. . .»

— А пошел ты к. . .

— «. . . за три с половиной часа».

Я хлопнул дверью.

6.

У Ирины была плавная фамилия — Иевлева. Каждый раз, когда я звонил ей по телефону, мне казалось, что я пою, произнося: «И-Р-И-Н-У-И-Е-В-Л-Е-В-У». И каждый раз я вздрагивал, слыша в ответ вопросительное «Да-а?»

— Иринка, — сказал я, — как дела?

— Витенька, я свободна! Мама решила, что ей удобнее болеть у тетки, и я ее утром отвезла на Фили. И теперь я свободна! Ты видишь, как я танцую у телефона?

— Конечно, — сказал я. — Ты встаешь на носки и щелкаешь пятками. А левой рукой ты придерживаешь халатик.

— Витька, ты ослеп! На мне нет халатика. И вообще почти ничего нет — так, самая малость.

— Ох ты! Тогда я сейчас примчусь.

— Сударь, я вас не задержу: вы застанете меня вполне одетой, готовой к выходу.

— А куда?

— Куда-нибудь махнем, Витя. Приезжай.

Я взял такси. Водитель попался молодой и напористый. Мы лихо проскочили перекресток на желтый свет. Милиционер в стеклянной будке погрозил нам.

— Ладно, ладно, сиди в своем подстаканнике, — про-
бормотал шофер. Некоторое время он гнал машину молча,
потом попросил у меня закурить и доложил:

— Вернулся я сейчас из Нарофоминска, возил туда
инженера одного. Когда брал его, спрашиваю: «Один еде-
те?» «Один», — говорит. И правда, ехал один. А свобод-
ных мест в машине не было.

Он замолчал, ожидая, что я спрошу. Я спросил:

— Как так?

— А вот так: всю машину продуктами завалил. Я го-
ворю: «Что это вы все московские магазины скупили?» А
он: «Милый, говорит, жрать-то надо? У меня, говорит,
семья большая. У нас, говорит, в Нарофоминске один ло-
зунг: «Пей вино, смотри кино, закусывай радио».

Он захохотал.

— Ну, отвез я его, выгрузил, дай, думаю, в магазины
загляну. Зашел, а там и в самом деле — ни хрена! Вам
сюда? К подъезду. . . Спасибо. Будьте здоровы!

Я вбежал на второй этаж и позвонил.

— Витька, это ты?

— Ага.

— Подожди за дверью, я оденусь.

— Открой, Ирка, здесь страшно, волки воют. . .

— Ну, ладно, входи, только не смотри на меня. . .

Я вошел с закрытыми глазами. Ирина засмеялась, взя-
ла меня за руку и повела в комнату.

— Ирка, а что же ты в непристойном виде по коридо-
ру разгуливаешь?

— А никого нет. Была соседка — и та только что
ушла.

Я открыл глаза. Ирина стояла в старом купальном халате, кое-как стянутом в талии пояском от плаща. Она смотрела на меня и улыбалась.

— Какой ты нарядный — сказала она. — Каким ты франтом на работу ходишь. В голубенькой рубашечке пришел к своей милашечке.

Халат на плече был разорван. Я поцеловал ее сквозь дырку.

— Витька-Витька, — сказала она, — Витька-Витька. . .

. . . Мы никуда не пошли. Позже, под вечер, я сбегал в магазин, купил бутылку вина и еды. Мы ели и пили, сидя на постели, и она немножко опьянела, и смеялась, проливая вино, и прижималась ко мне растрепанной головой.

— Витька-Витька, — твердила она, — Виктор-победитель. . . Какая я дура, что столько времени оттягивала это. Я тебя больше никуда не отпущу. Слышишь?

Снова смешалось наше дыхание. Белели ее плотно опущенные веки, рот казался черным. Это было, как плаванье в беспокойном море. Нас с головой захлестывало волнами, мы задохались под тяжелыми, сотрясающими тело ударами, нас выносило вверх, к ослепительному солнечному свету и снова швыряло вниз, в черные провалы беспамятства. Переводя дыхание, мы могли выговорить, простонать только имена друг друга. . .

Я выбрался из постели потихоньку, чтоб не разбудить Ирину. Я сел у нее в ногах и закурил. Огромная, никогда раньше не испытанная нежность властно овладела мной. Ирина лежала, подтянув к животу мерцающие колени, смешно вывернув руки кверху ладонями. Я глядел на нее и думал, что сейчас мне уже безразлично, красива ли она, умна ли; сейчас она мне близка — и это самое важное. Я ее люблю, и я любил бы ее теперь с кривыми ногами, или с черными зубами, или плохо острящую. «Жена моя», — подумал я

и сжал челюсти, чтобы не заплакать. Такого у меня еще никогда не бывало. Я ни на секунду не осуждал себя за то, что много распутничал раньше, и думать о женщинах не казалось мне кощунственным рядом с нею. Я знал, что жил так же, как десятки моих знакомых, так же, как они, сходился и расходился с женщинами, так же думал и говорил о них. Может быть, мы говорили пошлости. Пошлость! Нет, не то. Наверно, всё-таки это был поиск — поиск, сам по себе доставляющий наслаждение. Кто ж виноват, что самоутверждение мы ищем в запретных и стыдных потемках, что слова, которые мы произносим, заземляют и снижают мудрую жажду красоты? Ира, Иринка, жена моя, я всё-таки нашел тебя. . .

«Вы не смеете жениться». Я встал. «Вы не смеете спать с порядочными женщинами». Врешь! Я смею. Я сам порядочен. Я умен и талантлив. Ищи других, ищи настоящих нелюдей. Ищи пристально, не клюй на слишком яркую приманку. Ищи! Они живут среди нас, настоящие стукачи, — ездят в трамваях и метро, посещают филармонию и читают Солженицына, выходят на пенсию и разводят цветы, заседают в товарищеских судах, пишут научные работы! С ними своди свои счета. . .

«Своди свои счета», — повторил голос Чернова. — «Если ты такой честный, то это и твои счета. Ты уходишь от ответственности, ты хочешь, чтоб другие отскабливали грязь, а ты будешь щеголять в чистой совести, как в чистых ботинках. Взамен мелкой монеты ты кинешь чистильщику: «Я с вами совершенно согласен!» И будешь гордиться своей гражданской смелостью. Дело делать надо!» Дело делать? А что сделал ты, Феликс Чернов? За что ты сидел в тюрьме? Ты и 99% всей 58-ой? Вы же сидели *ни за что*. Вы тоже ничего не делали. Ни плохого, ни хорошего — *ничего*; мне до слез, до крови жалко вас, но передо мною вам гордиться не-

чем — вы тоже бездействовали. Я виноват только в том, что ничего не сделал — если это можно считать виной. Если это считать виной. . . Если считать виной. . .

**
*

Я так и не сказал ничего Ирине. Мне не хотелось зряшними разговорами портить наши первые часы, первые дни.

Прошла неделя. С работы я ехал прямо к ней, а иногда она встречала меня у дверей наших мастерских, и мы шатались по Москве, бродили по набережным, глаза на неоновых пингвинов, рекламирующих мороженое. Мы очень заботились друг о друге: я объяснял ей, что Пиросманишвили гениален, а она то же самое говорила о Шостаковиче. Всё было чудесно.

Я сидел на работе и, насвистывая, затачивал карандаши, когда меня позвали к телефону. Это звонила Ирина. Она сказала мне, что мать вернулась домой и поэтому я не смогу придти к ней сегодня.

— Ну, так приходи ко мне.

— Витенька, сегодня мне надо побыть с нею. Первый день.

— Какого лешего! — завопил я. — Жена ты мне или не жена?!

— Милый, не скандаль. Во-первых, еще не жена. . . Что? Не рычи — жена, жена. А во-вторых, я в самом деле совсем запустила хозяйство. Надо прибрать, постирать кое-что. . . Завтра увидимся. Ну, целую тебя.

Я повесил трубку. Рядом стоял и ухмылялся сослуживец:

— Ты, значит, женился? А свадьба где? Зажал?

Я хлопнул его по плечу:

— Не горюй, не грусти! Будет вам и белка, будет и свисток.

Но когда я кончил работу, я вдруг задумался: куда деваться? За эту неделю я привык быть с Ириной ежедневно, и сейчас мне было как-то не по себе. Я пошел к Мишке Лурье.

Мишка жил недалеко от меня, на Трубной площади. Дверь в квартиру отворила соседка. Я постучал в мишкину комнату и, не дождавшись ответа, вошел.

Мишка, его жена и Нина Ряженцева сидели за столом. Еще за дверью я услышал, что они о чем-то спорят, а когда вошел, увидел, что Мишка зол, как черт, и у Нины красные пятна на лице. Мишкина жена сидела, поджав губы.

— Здорово, служилые! — сказал я. — Чего вы тут не поделили?

— Здравствуй, — сказал Мишка хмуро.

— Что случилось?

Они молчали. Потом Нина встала.

— Мне пора идти, — сказала она.

— Я вас провожу, Ниночка, — отозвалась мишкина жена.

— До свиданья, — сказала Нина, и они ушли.

— Мишка, в чем дело? — спросил я. — Что-нибудь стряслось?

— Стряслось.

— С кем?

— С тобой.

Я понял.

— Ага, — сказал я. — Чернов. Мне следовало всех вас предупредить. Ну, что ж рассказывай. Жаль, я опоздал. Мне не до того было.

— А до чего тебе было?

— До любви.

— Мог бы ради такого случая отложить кобеляж.

— Это не кобеляж, Мишка. Я женюсь.

— На ком?

— На Ирине Иевлевой.

— Ого! — Мишка заулыбался. — Вот это да! Ну и ну!

— Может, ты прекратишь эти междометия? Рассказывай, что произошло.

— Что произошло, что произошло! Произошло то, что к Нине пришел этот Феликс Чернов и сказал, что ты стукач, что ты его посадил, что у него есть неопровержимые доказательства.

— Он изложил эти неопровержимые?

— Да.

— Ну и что? Ты-то что думаешь?

Мишка отвернулся и уставился в стенку, где пестрела репродукция «Танцовщиц» Дега.

— Мишка, что же ты молчишь? Ты тоже считаешь, что я гад? Мишка, мы же друг друга со школы знаем.

— Слушай, Виктор, — Мишка выпрямился. — Ты должен пойти к Чернову. Вы должны с ним объясниться. Вы же оба разумные люди. Он ведь должен понять, что лучше молчать, чем обвинять, ошибаясь. Хочешь, мы вместе пойдём?

— Погоди, Миша. Ты-то, ты — что думаешь?

Мишка помолчал.

— Я верю тебе, Виктор, — сказал он медленно, — верю. . .

— Но. . . Ты ведь хотел добавить «но»?

Он молчал.

— Мишка! — заорал я.

— Как будто ты сам не понимаешь, — выговорил он нехотя.

Я поднялся:

— Ну, что ж. Спасибо и на этом. . .

7.

«Узбекистан» гудел, как бесплацкартный вагон. Запирившаяся прислуга моталась между столиками, отмахиваясь салфетками от нетерпеливой публики. Пьяная девка за моим столиком всё время пыталась говорить со мной по-английски, но кроме «спик ю инглиш» и «ай эм гёрл» ничего выдать не могла. Ее кавалер, высоколобый зануда с университетским значком, говорил: «Люда, погоди!» Она на какое-то мгновение умолкала, и тогда он, перегибаясь через столик, пачкая рукава салатом, убеждал меня:

— Самая объективная газета у американцев — это «Нью-Йорк геральд трибюн». Читайте «Нью-Йорк геральд». Они всему цену знают. . .

— Вы что — агент по рекламе? — спросил я, отпихивая его влажную руку, хватавшую меня за плечо. Но он не давал сбить себя:

— Нет, я — доцент Вашечкин. Семен Алексеевич Вашечкин. А вас как зовут?

— Фра-Дьяволо.

— Ха, вы шутник. Я говорю: читайте. . .

Он остановился и посмотрел на меня любящими глазами. Девка завопила:

— Спик ю инглиш?

— Люда, погоди! Вот я вам сейчас расскажу: сели мы в покер, и я проиграл восемь рублей, а? Вы играете в покер?

В покер! Сукин ты сын! Встретился бы ты мне на улице, я бы тебе показал покер!

Я перевернул графинчик над стопкой. И полстопки не набралось. Доцент засуетился:

— Разрешите, я налью. Пожалуйста. . .

— Ай эм гёрл!

— Люда, погоди! Вы мне очень нравитесь, уважаемый — хе! — Фра-Дьяволо!

— Ладно, лейте. Официантка, еще триста грамм!

Официантка по-матерински поникла надо мной:

— А не хватит ли? Не сердитесь, вы уже много выпили.

— Ничего, ничего, девушка! Вы же видите я в полном порядке.

Но я не был в полном порядке. Хотя я и чувствовал себя трезвым, зал расплывался, в голове стучало, и страшная сухость стягивала рот.

— Слушайте, Вашечкин! Слушайте, доцент! Я хочу вас спросить кой о чем. Только скажите ей, чтоб она не лезла со своим «инглишем», а то я ее по-русски пошлю! — добавил я раздраженно. Я был уверен, что трезв: я фиксировал свой тон, я позволял себе раздражаться.

— Люда, погоди! Я слушаю вас, дорогой друг. Я — доцент Вашечкин. . .

— Спик ю. . . — пискнула Люда и печально умолкла.

— Слушайте, Вашечкин. Кстати, что за дурацкая фамилия: Вашечкин, Нашечкин. . . Ладно, не сердитесь. А, принесли. Спасибо, поставьте сюда. Так вот, представьте, что вас обвинили в грязном поступке, в подлости. И вы не можете доказать, что не виноваты, вы беззащитны против

клеветы. Вы слушаете меня? Вы слушайте, а то. . . Что вы будете делать, доцент? Как вы будете жить?

— Я. . . Спасибо, спасибо. За ваше здоровье! Кха, Да. Если бы меня обвинили в чем, в том. . . в том, в чем я не виноват, то я был бы спокойным! Спокойненьким!!! Потому что я сам знал бы, что я ни в чем не виноват. А?

— Здорово! Ай да доцент, ай да молодчина! Слушай, сколько лёту от Москвы до Сочи?

— Что? До Сочи? Кажется, часа три, три с половиной.

— Ух, Вашечкин, опять угадал!

В это время Люду замутило. Она встала и посмотрела на нас трагическими и бессмысленными глазами.

Вашечкин вскочил, подхватил ее за талию и повел, обращившись ко мне и вскрикивая:

— Погодите! Не уходите! Договорим!

— Здесь свободно?

Одно место за нашим столиком было не занято, но к нам никто не садился, потому что на стуле лежала людина сумочка. Вашечкин, уходя, подхватил ее.

— Да, одно место, — сказал я.

— А мне больше и не надо. Я не люблю, знаете ли, на двух стульях сидеть. Я всю жизнь на одном стуле просидел. Чего и вам желаю.

Он был совсем пьян, этот человек лет пятидесяти, с осоловелым добродушным лицом, с маленькой лысинкой в белокурых седоватых волосах — я увидал ее, когда он нагнулся, садясь.

— Ну, что пьем? — спросил он, потирая руки. — Девушка, графинчик, салатик, шашлычек по-карски, пару бутылочек минеральной. Вот так. Молодой человек, разрешите воспользоваться пепельницей. Вот так. Спасибо коллега.

— Какой я вам коллега, — буркнул я. — Я художник.

— И я художник, — подхватил он. — Художник в своем роде. Шучу, шучу. А с художниками я был знаком. С художниками я много встречался. Ночи напролет, бывало, беседуем.

— Вы кто же? Искусствовед? Критик? Министр культуры?

— У-у, горяч, горяч. Молодой еще, ничего.

— Вы лучше выпейте. А то пока вам еще принесут. . .

— Выпью, сынок, выпью. Разочтемся. Будь здоров. Я им говорю: «Что ж, вы, говорю, художники? Жалко мне вас, говорю». Та-акой народ! «Присаживайтесь», — говорю. Да, а сейчас я на пенсии. Вот так.

— Что-то я не пойму, какие у вас с художниками дела были?

— Да одни ли художники! Профессора, академики! Химики! Я тут, а они — вот они, голубчики мои. Ну, чего ты смотришь, чего глазами моргаешь? Кто я такой? Пожалуйста! Я — майор. Я в органах работал. Двадцать семь лет, как одна копейка. А теперь на пенсии.

Он вдруг заговорил шепотом:

— Ненужен, говорят, стал. Образования, говорят, мало. Отдохните, говорят. А на мое место — мальчишку, соплика. Только — тсс, молчок! Я тебе, как своему. . .

— Что?!

— . . . как своему брату говорю, как младшему брату: придут! Придут, позовут, «Выручай, скажут, майор!» Ты думаешь, все эти штучки — надолго? Все эти манежи, етушенки, совнархозы, мать вашу. . . Молчи, молчи. Зубы стисни, молчи, не тушуйся. Думаешь, я один такой? Думаешь, я сопьюсь на большой-то пенсии? Врешь! Я иду по Кузнецкому, а они навстречу, навстречу. Здраваться не

положено в штатском, так они глазами приветствуют! Нет! Шалишь! Без меня не обойдешься! Придут, позовут, а я умоюсь, побреюсь, выйду к ним — и мы такое покажем! Тсс! А то, понимаешь, слабаки: «Я, говорит, угрызения совести испытываю, я неправильно сообщил». А какое ты право имеешь рассуждать, что правильно, что неправильно? Ты долг свой исполнил! Перед родиной, перед партией! Перед. . . впрочем, о Нем молчу. О Нем другие скажут. Вот так. Мало ли, что неправильно, а сообщить надо. Мы разберемся. Ты хороший малый, молодой только, в глазах задумчивость. Ты это брось, не задумывайся. Не тушуйся! И правильно сообщил. То есть, это не ты сообщил, я спутался. . . Но и ты мог бы. Ты настоящий человек. На каких фронтах воевал? В окружении, в плену был?

Он вдруг замолчал и подозрительно уставился на меня.

— Ты мне смотри-и, — прошептал он. — Ты подписку дал. Вот так.

За соседним столиком освободилось место. Майор встал и перебрался. Туда ему и заказ принесли, оттуда он грозил мне пальцем и шипел: «Вот так!»

Вот так! Так и никак иначе! Он распухал у меня на глазах, двоился, троился, переодевался в серые плащи, обрастал погонями и орденами, размножился по всему ресторану. Вот так! Да нет же — не так! Не будет так, майор, эмгебешник, сволочь проклятая, не будет так! Я сдохну, чтобы так не было.

Я не помню, как и откуда появился Брынский. Кажется, он сначала звал меня с другого конца ресторана, но я не вставал, и он сам пришел ко мне. Водки у меня уже не было, и я пошел требовать долг с эмгебешника, а Брынский твердил:

— Плюнь! Я тебе стихи почитаю.

— Сейчас, — сказал я, — сейчас.

Я пошел в уборную и подставил голову под кран. Ко мне подошел служитель:

— Молодой человек, хотите, через пятнадцать минут трезвым будете?

— Хочу, — сказал я. — На всю жизнь. . .

— На всю не выйдет, — ответил он деловито. — Три рубля пожалуйста.

Я дал ему трешку. Он отвел меня за перегородку, усадил на стул и сунул в руки флакон с витамином «Б-прим».

— Ешьте, — сказал он. — Только не засыпайте.

Я глотал драже, давился и не верил. Однако минут через двадцать на слабых ногах, но почти трезвый, я вышел в зал.

Брынский ждал меня.

— Слушай, — сказал он. — И вы слушайте, — он повернулся к Вашечкину и его Люде — они уже вернулись. Лицо его стало каменным, он взялся за щеки и прочел:

Пройдут века, прекрасны и суровы,
Чтоб мы смогли всё знать и всё уметь,
Тогда спадут небесные покровы
И завопит архангелова медь.

Народ завоет: «Как же так? До срока?»
И взмолятся «Немного погоды. . .»
Народ, спеша, отыщет лжепророка,
Народ, бляя, создаст себе вождя.

И побежит бессмысленно куда-то,
А вождь наморщит мудрое чело —
И вот восстанут снова брат на брата,
Рассудок на рассудок, зло на зло. . .

И черный конь сверкающей подковой
Ударит о заждавшийся гранит —
И землю всю период ледниковый
В мильонный раз, кряхтя, оледенит.

.. Доктрины строя, лезя в поднебесье,
Глупцы, глупцы, не увидали мы,
Что стержень жизни — только в равновесье
Добра и зла, сияния и тьмы.

— Поэт! — воскликнул Вашечкин. — Настоящий поэт! Напишите мне автограф. Я — доцент Вашечкин.

На другое утро я нашел листок со стихами у себя в кармане. Не знаю, как он туда попал. Может быть, я отнял его у Вашечкина? Ведь я снова напился.

.

Брат мой! Я вечером выйду из дому и спущусь в преисподнюю, где станции нанизываются на грохотанье составов, в чванную бессмысленность мрамора и бронзы, в угрюмую усталость толпы. Я промчусь под городом, под людскими рожденьями и смертями, под нежностью и развратом, под пестрой мешаниной жизни. Я выйду наверх, неся на сутулых плечах весь этот груз. Я постучусь в твои двери, свалю ношу у порога и спрошу тебя: «Что мне делать со всем этим?» Ты ухмыльнешься лукаво и грустно, как будто тебе ведомы привалы и провалы дороги, победы и побеги в пути. Ты процитируешь мне тоскливых мудрецов, длинными пальцами вылепишь из воздуха чудищ Апокалипсиса и скажешь: «Это будущее». Я не поверю тебе, брат мой. Я не захочу голой душой сунуться в лед и пламень твоих пророчеств. Я скажу тебе: «Что мне делать сегодня, сейчас?» Я вытащу из вороха и положу на осыпанный папиросным пеплом стол Виктора, моего героя. И я спрошу тебя: «Чем ему помочь?» Ты ничего не ответишь,

и мы будем печально смотреть, как он корчится на липкой клеенке, рядом с недоеденным куском хлеба, на краю стола, с которого так легко упасть. Мы будем смотреть на него так, как смотрим в зверинце на обезьян, умиляясь и ужасаясь сходству с нами. И ты спросишь меня: «А много ли тебя в нем?» «Не знаю, — отвечу я, — не знаю. Наверно, много».

Мы допьем вино, оставшееся от позавчерашнего кутежа, обменяемся новостями и анекдотами, и я уйду, провожаемый твоим взглядом, — уйду бродить по улицам и заглядывать в лица прохожим и в освещенные окна первых этажей.

Я доберусь до твоего переулка, женщина, друг мой, и войду в твой дом. Мы вместе подберем обломки нашего прошлого, и сложим их маленьким костром, и будем греть над ним озябшие ладони. И я не спрошу тебя, что мне делать, потому что в твоих глазах я увижу бегство — от раздумий, от крутизны, от меня. Ты скрываешься в музыку и в цветы, ты прячешься в своего ребенка. И что ты можешь мне посоветовать, как можешь спасти меня и моего Виктора?

И я вернусь домой, и молчаливое сочувствие встретит меня на пороге, и я ткнусь губами в теплые ключицы, и медленно буду воскресать для новых дней и ночей. И я не услышу вопроса «А много ли тебя в нем?», потому что только здесь знают — сколько.

Я снова останусь один на один со своим героем и скажу ему, лежащему в пьяном забытьи:

— Я ничем не могу тебе помочь. Ты обречен, Виктор...

.

Я шел на работу с тяжелой головой, изломанный, измученный. Я заставил себя пойти не потому, что не мог пропустить — у нас с этим довольно свободно — мне нужно, мне необходимо было знать, известно ли что-нибудь на работе. Кажется, мне хотелось, чтобы уже все наконец узнали, чтобы всё для всех стало ясно, чтобы я перестал висеть между небом и землей.

На работе всё было тихо. Сослуживцы подсмеивались над моим помятым видом — я спал, не раздеваясь — и над тем, что я через каждые десять минут пил воду.

Шел срочный заказ: рекламные щиты для Союзпечати, и, как всегда, расцвела обычная бестолковость нашей шашкиной конторы. Никак не могли распределить задания, терялись тексты, кто-то уже вопил, что ни одного дня в этом сумасшедшем доме не останется.

Сумасшедший дом! Посмотрели бы они, как там на самом деле. Чистота, порядок, телевизор, стенгазета. Я, правда, у буйных не бывал, я приходил с визитами только в тихое отделение. Там все были очень деловитые, очень сосредоточенные. Прямо не психбольница, а читальный зал Ленинской библиотеки. Вот только двери там открывают треугольными ключами, как в железнодорожных вагонах. Идиллия, мирный приют. Заповедник раскрепощенной мысли. . .

У меня кончились папиросы, а курящих в нашей комнате, кроме меня, не было. Я пошел к трафаретчикам.

Дверь в мастерскую была полуоткрыта. Оттуда слышался галдеж:

— Зинка, не трещи!

— Алло, Эдик, кинь тряпку!

- Ребята, новые стихи!
- Левушка, Левушка, когда ты побреешься?
- Вайс утверждает, что критическая точка. . .
- Эй, босяки, тихо! Читай, Ленок!

Они всё бубнят про политику,
Про договоры долдонят,
А у девочки — слезы по личику
И подбородок в ладонях.

Они нажрались доотвала
Доктринами США и Россий
А снег, как ни в чем не бывало,
Декоративно красив.

Как высушить сердце ни целью,
Но сыплется звезд фейерверк,
И прет по-весеннему Цельсий,
И гонит подснежники вверх!

- Слабо, Леночка, слабо!
- Ну, что за наивное противопоставление!
- Девочки, а мне нравится!
- И мне. . .
- А кто это, собственно, «они»?
- «Они» — это мы, те, кто газеты читает. Так ведь, Леночка?

— Вадим, ты шкаф. Бесчувственный нескораемый шкаф, в двести килограмм весом. И не разговаривай со мной, пожалуйста.

Я вошел. Все замолчали. Ко мне обернулось с десятков лиц — смущенных, любопытных, вызывающих.

— У меня кончились папиросы, — сказал я. Они молчали, не двигались. Потом Вадим, тот, кого назвали «шка-

фом», положил передо мной на стол пачку сигарет. Я вынул одну, поблагодарил и вышел, плотно закрыв за собой дверь. В комнате сразу зашумели. Не успел я пройти и пяти шагов, как меня догнала Леночка. Я остановился. Она стояла передо мной, испуганная, решительная, и вдруг выпалила, как в воду кинулась:

— И мы просим вас, Виктор Львович, приходите к нам только по делу!

Я молча смотрел на нее. Она всплеснула руками и зашептала:

— Как вы могли, как вы могли. . . Вы, такой. . . И что вы с собой сделали!

Ах, ты, Сонечка Мармеладова! Я захохотал.

— Успокойтесь, Леночка, я не убивал старуху.

— Что? Какую старуху?

Но я уже бежал к выходу. Я вылетел на улицу и бросился к автомату.

— Нина? Нину Васильевну Ряженцеву. Нина, это говорит Виктор Вольский. Погодите, не бросайте трубку! Мне нужен адрес Феликса, Феликса Чернова. Что? Я хочу остановить его, пока не поздно. Что? Нет, я не угрожаю. . . Потом, потом, дайте сперва адрес. Что? Что? Дом 45. А квартира? Ага. Не будьте дурой, Нина! А, Господи, какая разница, хам я или нет!

Я шел на людей, на машины, на красные огоньки светофоров. «Пьяный! Хулиган!» — кричали мне вслед. Я шел, как вал, как волна, закипая по дороге. Я нес в себе проклятья и просьбы. Я шел, чтобы обрушиться на него. И я зазря расплескал всё это в чистой прихожей квартиры Черновых, где красивая Ася брезгливо сказал мне:

— Феликса нет дома. Но мы предполагали, что вы придете. Поэтому Феликс поручил мне передать, чтобы вы

выполнили то, о чем он вам говорил. Он свое решение не изменит. И я думаю, что он поступает правильно и справедливо. Такие, как вы, не должны встречаться с людьми. Мне даже странно думать, что какая-нибудь женщина может любить вас. Разве что шлюха. . .

Я шагнул к ней. Я ударил бы ее, если б она вздрогнула, отшатнулась. Но она осталась стоять на месте и по-прежнему с гадливостью смотрела на меня. . .

Дома я лег на диван. «Он поступает правильно и справедливо!» Он поступает правильно и несправедливо! Ведь я же не виноват. Ведь я же безгрешен. Нет на мне вины!

Есть на мне вина. Я не сидел в тюрьме. Я должен был сидеть в тюрьме. Но не так, как Феликс. Не дуриком. Я должен был что-то сделать, за что мог попасть в тюрьму, в лагеря, в рудники, к стенке!

Зазвонил телефон.

— Да, это я. . . Что? Считать, что мы. . . Повторите! Считать, что мы незнакомы? Ладно, буду считать!

Господи, грешен! Виноват в несодеянном, виноват в несовершённом, в равнодушии, в трусости виноват. В том же, в чем и вы! Только я один за всех буду расплачиваться.

Звонок.

— Да, да. Да, конечно. Не беспокойтесь, не приду. Будьте здоровы!

Ладно, черт с вами. Вы меня одолели. Вы — справедливые и честные, вы — храбрецы образца 63-го года. Куда мне от вас деваться? Ладно, я уйду. Я возьму только одного человека, которому я нужен. Это вы мне можете подарить, мне — побежденному — жизнь. . . Мы с нею уедем от вас. Куда-нибудь, где она сможет заниматься музыкой, а я хоть малярить. Нам хватит друг друга на всю жизнь. . .

— Да, это я, мне всё понятно, идите к черту!

Я буду жить с нею далеко, а вы оставайтесь здесь. Будьте честны, будьте справедливы, будьте счастливы, будьте прокляты.

Звонок. . .

Звонок. . .

Звонок. . .

Ирина, позвони же мне! Или хотя бы ты позвони, Господи!

9.

Дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел Игольников. Я приподнялся на локте.

— Витя, можно мне к вам?

— Ко мне нельзя, Володя. Ни вам, никому другому. Я вне закона, вне игры. Я для вас кончился.

— Витя, перестаньте! Да не верю я ничему, поймите. Можете вы мне поверить, что я не верю, что я вам верю. . . тьфу, черт, запутался! Бросьте, не хочу даже говорить об этом.

— Слушайте, Володя, не надо мне примочки прикладывать. Вы же никогда у меня не бывали, чего же вы сейчас примчались? Утешать? Уговаривать?

— Ничего подобного! — окрысился он. — Тоже, нашли утешителя. Я к вам пообщаться пришел. . . Ладно, не буду врать. Вам сейчас скверно, а я к вам хорошо отношусь, ведь вы сами это знаете. Ну, так как — уйти мне или остаться?

— Оставайтесь.

— Ага! А ежели я остаюсь, так извольте принимать меня как положено. Скажите: «Будьте гостем дорогим!»

— Будьте гостем дорогим.

— Не слышу энтузиазма в голосе. Ладно, Бог вам судья, я сам буду хозяйничать. Где у вас штопор? Дайте нож — колбасу нарезать. И какие ни на есть тарелки. Рюмки? Вот они. Ну, поехали!

Мы выпили.

— Витя, дорогой мой, я вам сейчас одну тайну открою. Всё ерунда, не обращайтесь внимания. Всё объяснится, всё войдет в свою колею. С вами не произошло самого страшного. Вас обвинили в измене? Пусть! Мы с вами знаем, что это не так. Я с Черновым из-за вас поругался. Плюньте! Главное — что вам не изменили.

— Как «не изменили»? Все отвернулись, все поверили. . .

— Но вот я же не поверил! Но я — это ладно, это пустяки. Вам не изменила женщина, которую вы любите. Я, брат, всё знаю. И душевно вас поздравляю — Ирина замечательный человек. Мы ведь с ее братом, с Леонидом, друзья были. Он в 44-ом на фронте погиб. Какой пианист был, эх! У них вся семья музыкальная.

— Подождите, Володя. Она — знает?

— Знает. Ну, чего вас затрясло? Вы слушайте: был я вчера у Оксаны Ямпольской — вы ее не знаете, она в издательстве корректором работает, разбитная такая бабенка. Народ там разный собрался. И вдруг является Ирина. Они с Оксаной, оказывается, приятельницы, даже родня какая-то по первым мужьям. Ну, я, понятно, обрадовался, о матери стал расспрашивать. Хорошо. Вечер как вечер. Только смотрю я — Ирина какая-то смутная. «Что ты, говорю, деточка, что с тобой?» А она: «Отказалась я,

говорит, от одной встречи сегодня, а потом обстоятельства переменялись, я стала звонить, а его нет». Я говорю ей: «Пустяки, мол. Погляди, какие парни brave. Да и я еще хоть куда». Смеется. «Я, говорит, Володичка, замуж собралась. Можно мне по второму кругу замуж выйти?» Только мы собрались выпить с ней по этому поводу, вдруг слышим — ваше имя назвали. Я возьми да и пошути: «Кто это там о моем знакомом мазиле говорит?» И какая-то чертова баба выкладывает всю эту ахинею. Я, признаться, так растерялся, что даже дар речи утратил. И вдруг встает Ирина и говорит. . . В общем, неважно, что именно она говорила. Вложила им по первое число. И я немного добавил. И мы с нею гордо ушли, к великому огорчению хозяйки. Так что салон остался без музыки и литературы. Проводил я ее домой, а сам к Черновым. Там. . . поцапались. Вот и всё. Хорошо, что я вас застал. К вам никак не могли дозвониться эти вот — благородные либералы. Где вы пропадали?

— Я всю неделю у нее жил.

— Голубчик, Витя, Ирочка с вами — и вам всё — трын-трава! Вот когда женщина уходит — тогда дело плохо. Ведь было со мной, было. Поверите ли, Витя, Богу молиться стал. Господи, твержу, что ж это? Господи, помоги! А ведь я безбожник, язычник, я толстяк, я член ССП, чтоб ему провалиться! А тут как за горло взяло — взвыл! И ревность, ревность. Как вспомню этого человека, к которому она уйти хотела, так меня трясет от ненависти, от отвращения. Мне в нем всё противно было: и голос, и фигура, и манеры. Сейчас-то я понимаю — человек как человек, неглупый, занимательный, работник дельный, честный. А тогда! Меня мутило от одного его вида. А уж представить ее с ним вместе, с руками его волосатыми — какая это мука. . . Погляжу на него — и всего передерги-

вает, как будто он не ей, а мне плечи целовал. Какая мука, Витя, какое несчастье. . .

Он замолчал, налил водку в стаканчики. Мы выпили.
— Володя, — сказал я. — Я позвоню ей?

— Не надо. Я сам позже позвоню. . . Да, так и страдал. Уехать хотел. Я тогда в газете работал. Пришел к главному, «Отпусти», мол. «В чем дело?» Бога, говорю, искать пойду. А он: «Ищи, говорит, царство Божие внутри себя, а общественность тебе поможет». Н-да, было — былшем поросло. Я к чему это всё? К тому, что вам, Витя, грех жаловаться, у вас есть стержень, арматура, вы не рассыпетесь.

— Володя, — сказал я, — налейте мне еще, давайте выпьем. Вы удивительно добрый человек, Володя.

— Нет, это не я, это климат такой. Мы, россияне, добрые от безволя, от обреченности, от того, что всё вокруг, всё, что было и есть, — мираж, фантомы. Всё зыбко и шатко. И злые мы от того же.

Как все алкоголики, он быстро пьянел.

Американец или швед — я об обыкновенных людях говорю — без нужды не будет добрым или злым. У них есть конкретное, утилитарное представление о справедливости. Они не швыряются эмоциями. Они экономят себя и время. А мы гордимся сдуру, что не минуты, не сутки, не годы, а целую жизнь, целую эпоху бросаем псу под хвост. Сами знаем, что дураки, а гордимся. Как мы огрызаемся, когда нас иностранцы жалеют! Один мой приятель даже стишки сочинил по этому поводу — его какой-то француз уговаривал, какие мы несчастные. Там такие строчки есть:

А ты, француз, ты непричем,
Не лезь и наших душ не трогай,
Мы двое — жертва с палачом
И мы идем своей дорогой.

Нет, мы с вами там жить не смогли бы. И не потому, что не сумели бы на жизнь заработать, нет! У меня профессий двадцать есть, у вас одна — но интернациональная. Нет, дело не в том. А вот смог бы я в одиннадцать вечера вломиться в дом к не очень близкому человеку и начать выкладывать ему то, что я вам выложил? Нет! Задушевность, Витя, это такая валюта, на которую за границей ни фига не купишь. А мы в России сидим по уши в дерьме и такие задушевные разговоры ведем! Прячемся, как страусы, в многозначительность. . . Кстати, о страусах: вот вы, Витя, художник. На кого похожи страусы?

— Не знаю, — пробормотал я.

— На балерин. У этих дурацких птиц позиция классического балета. И хвосты, как балетные пачки. . . О чем мы говорили? А, ругали Россию! А мы ее всегда ругали, всю дорогу, со времен Владимира Красное Солнышко. Газетчики пишут, что кто, мол, ведет подобные разговорчики, тот кусает руку, которая его кормит. Идиоты! Рука-то — моя! Я хочу побриться, — неожиданно заявил он. Я включил бритву.

— Бритье — это ежедневный обряд отречения от варварства. Петр это понимал, жердь голландская. Он этим бояр крепче, чем стрелецкой казнь, связал. . .

Я уже не слушал его. Тоска по Ирине погнала меня к телефону. Я набрал номер.

— Ее нет дома, — ответила мать. — Нет, не знаю. . . Хорошо, передам. . . До свидания.

Ирка, где же ты? Ты где-то в одном городе со мной, в одной стране, на одной планете. Почему ты не отзываешься? Не надо, не ходи к знакомым, не ломай копыя из-за меня. Приходи сюда, мы выставим этого милого, этого смешного толстяка и останемся одни. Ирка, приходи!

Она пришла. Она пришла через два дня, через два долгих дня, наполненных рвущими душу телефонными звонками и письмами. Я шел сквозь строй. Люди, с которыми я раньше разговаривал, пил, ходил в кино, дружил и ссорился, — эти люди стояли теперь с палками на-готове. О, это были разные палки: молчание, вежливое презрение, осторожный интерес, безразличие. Я блуждал, я тонул в плотном тумане того знания, которое, как им казалось, было у них.

Я застал ее у себя дома.

— Меня твои соседи впустили, — сказала она.

— Ирина? Ты. . . с чем ты пришла?

— Витя, я пришла сказать. . . Я не верю тому, что о тебе говорят.

— Иринка!

— Погоди. Я не верю, но я больше не могу. Эти три дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что всё время ко мне приходили, звонили домой, на работу. Удивительно, как много людей знало, что мы с тобой связаны. Витя, Витька, я боролась, как могла!

Она заплакала.

— Витя, я слабая, я плохая! Я не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь. Это — как клеймо. Витя, я знаю — нечестно оставлять тебя в беде, но у меня нет больше сил.

У нее похудело лицо, обуглился рот, тени легли под глазами. Но это были не те фиолетовые тени, которые я разглаживал по утрам кончиками пальцев.

— Ну, ударь меня, прогони, скажи что-нибудь. . .

— Ничего не надо, Ира. Ты права.

— Витя, когда это кончится. . .

— Это скоро не кончится. Я сейчас зачумленный. Любые жертвы были бы напрасны. Да, конечно, потом, когда-нибудь. . . Иди. Ты всё равно не можешь спасти меня.

Она могла спасти меня.

Она улыбнулась мне от порога жалкой, пристыженной улыбкой. И ушла.

Да здравствует либеральная интеллигенция! Да здравствуют стойкие стражи морали! Да здравствует наша мыслящая молодежь! Вы правы, друзья мои. Ты прав, Феликс, ты прав, Мишка, вы правы, Нина, вы правы, юные мастера трафарета. Ты права, Ирина. И я прав. Всё хорошо, всё правильно. Нас с тобой двое, Виктор Вольский. Один из нас сидит здесь, в этой комнате, и принимает решения; другой из нас сидит там, у Лурье или у Ряженцевых, и с возмущением говорит о первом, о подонке, о стукаче. Стань на его место, Вольский номер один. Попробуй, найди хоть какое-нибудь оправдание для доносчика, для себя. Нет оправдания. Ты обречен, номер первый. Номер второй вынес тебе приговор. И ты, номер второй, судья, тоже осужден. Мы можем теперь соединиться в одно и расплатиться за себя и за всех. За бездействие, за несодеянное. Слышите вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачусь не за ту вину, которую вы выдумали, а за ту, что действительно есть, за мою вину и вашу! Вашу! Вашу!

.

— Но, послушайте, вы же знаете, что я не вмешиваюсь в их дела, я только оцениваю их. . . Жалко, разумеется, жалко, но что я могу сделать? Порядок, есть порядок, как говорят эти, как их? . . Да, немцы. А что там, собственно, произошло? . . Так. . . Так. . . Так. . . Ну, а кто же в самом

деле виноват? . . Нет, я не об этом. Это ясно, что виноваты все и он тоже. Я спрашиваю, чью вину — ну, эту, маленькую, глупую вину! — чью вину ему инкриминируют? . . А-а. . . Знаете что — конечно, если это можно устроить неофициальным путем, — пусть этот второй, сидевший, тоже поплатится. Как-нибудь объясните, они поймут, они же знают, что и среди пострадавших были провокаторы. . . Ах, предусмотрено? Видите, как хорошо. Это подтверждает мой принцип невмешательства. Я сейчас дал себе волю и стал советовать — и оказалось, что это совершенно излишне. . . Что? Умерший тоже? Это было самоубийство? . . Хороши, нечего сказать. . . А где он сейчас? . . У нас? Гм. . . Что? Нет, нет, никак не могу. . . Поймите: всё идет своим чередом. . . И в конце концов, он действительно виноват, не в том, так в другом. . . Ну, что ж, что талантлив, какое это имеет значение. . . Ну, конечно, жаль. . . Очень, очень, очень жаль. . .

.

11.

Я одеваюсь. Я натягиваю отглаженные брюки, скрепляю запонками обшлага рубашки, стягиваю галстук модным узлом. Я — франт, я — шеголь, я иду в концертный зал Чайковского. Пора мне приобщиться к музыке. Сегодня выступает — очереди у концертных касс! — известная американская — нет ли лишнего билетика? — певица-негритянка. Кто принес мне билет? Он лежал на столе, когда я проснулся. Я его не покупал. Кто принес билет? Дверь была заперта. Ладно, наплевать. Я иду на концерт.

Кондуктор, сколько до площади Маяковского? Ага. Что, нет сдачи? Ничего, не беспокойтесь, давайте билет

до Киевского, я пройдушь пешочком на лишние деньги, это даже полезно. Что, шутник я? А чего мне унывать? Кто принес билет? Глупости, я, наверно, сам его купил, мне его дали вместо сдачи в булочной.

Приехали, приехали! Ого, вот так ножки! Ай да ножки! Сука, ты думаешь, мне нужны твои ноги! Нет, это я не вам, я про себя.

Ух, как здорово! Тепло и пахнет пудрой. Да, это двадцать второе место. Что? Какие концерты объявлены? Не знаю, девушка, я здесь случайно, я не поклонник музыки. Нет, я москвич, а вы? Из Вольска? Как забавно, моя фамилия — Вольский, вы еще не слышали? Ничего, услышите. А где это — Вольск? В Саратовской области. Жаль, я никогда там не был. Нет, не побываю, даже если вы меня пригласите. Ну и что ж, что не люблю музыку? Случайно, случайно, мне кто-то прислал билет через запертую дверь. Ну, конечно, шучу. Мои шутки все московские кондуктора знают. А вы угадайте. Нет, не инженер. Не врач. И не учитель. Я работаю в тире, в парке культуры. Нет, не инструктором. Я работаю мишенью. Да-да. Вы понимаете, люди — особенно либералы — любят показать друг другу, какие они меткие, стреляют в меня. А мне за это деньги платят. Seriously? Пожалуйста, могу серьезно. Я работаю козлом. Ну, что вы, не знаете, что такое козел? С бородой, с рогами — ме-е-е! Девушка, куда вы? Чего вы испугались? Я имел в виду — козлом отпущенья. . .

А, это и есть знаменитая негритянка? А что голос хриплый — это так и надо? Молчу, молчу.

Ты говорил, что у тебя была свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море — в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины — они были написаны потом, пролитым в Магадане и Тай-

жете. Свобода любить женщин — они все были невестами, женами и вдовами тех самых. . . Свобода? «Маргарин по колорийности и усвояемости равен сливочному маслу и почти вдвое дешевле его». Отчего у меня так болит голова? Я же хорошо выспался.

Что это? Антракт? Антракта не будет!

Товарищи!

Да-да, сюда смотрите! Я буду говорить отсюда, а то я боюсь, меня схватят, пока я доберусь до сцены.

Товарищи!

Они продолжают нас ре-пре-ссировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин — они все вдовы! . .

Погодите, куда вы? Не убегайте! Всё равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!

Товарищи, постойте, может, вы знаете, это очень важно: кто принес билет? Не знаете?

Да зачем же вы так — вы же задушите друг друга в дверях. . . Эх, вы! . .

Кто принес билет? Почему мне никто не отвечает? Сволочи, гады, братцы — кто же мне ответит? Ведь я для вас, подонки. . .

Мать твою, иже еси на небесех, — это Ты принес билет?!

На-днях мне исполнилось тридцать восемь лет. В честь моего дня рождения устроили вечер. Было очень весело: пели, читали стихи, ставили шарады, играли в «испорченный телефон». Один из собравшихся так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я снова рисую. Особенно хорошо мне удаются заголовки и лозунги. Я делаю их акварелью. У меня много красок и карандашей, потому что всем нравится, как я рисую, и все мне дарят. На день рождения мне подарили коробку цветных карандашей. Иван Александрович подарил. Он был в этот день очень занят, но всё-таки зашел поздравить меня с днем рождения.

У нас есть телевизор. Недавно мы смотрели кинофильм в двух сериях — «Русское чудо». Один из смотревших так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я теперь чувствую себя хорошо. Только голова очень болит. И всё время спать хочется.

На-днях ко мне приходила Ирина. Она принесла мне цветы. Она была очень грустная и всё время плакала. А потом пришел Иван Александрович и успокоил ее. Он очень хорошо умеет успокаивать. Он мне после сказал, что Ирина красивая.

Сейчас осень, уже холодно, но топят хорошо, и я не мерзну. Я каждый день, если нет дождя, хожу гулять. Сад замечательный, большой, только слишком яркий: много желтого и красного, от этого болит голова.

Сегодня 28 ноября 1963 года. Зовут меня Виктор Вольский.

Я нашел одну вещь. Я привязал эту вещь изнутри к кальсонам. Там, на кальсонах, есть сзади такие тесемочки, вот к ним я и привязал эту вещь.

Иногда, если не болит голова и на улице нет дождя, мне хочется уйти куда-нибудь далеко-далеко, где не так много людей. Они все очень умные и добрые, но я так устал, так устал, что они всегда со мной. Очень хочется побыть одному.

Теперь, после моей находки, я смогу это сделать. Но я не буду торопиться. Я дождусь зимы, когда будет идти снег, или еще лучше — метель, чтоб меня не могли найти по следам. Я дождусь метельной ночи, надену халат и отпущу дверь треугольным ключом, который я нашел и спрятал в кальсонах. Между прочим, этот ключ похож на те ключи, которыми отпирают железнодорожные вагоны.

Я уйду и снова буду один.

Цена \$1.75